

Варнак (1853)

Шевченко Тарас Григорович

Есть в нашем русском православном огромном царстве небольшая благодатная земля, так небольшая, что может вместить в себе по крайней мере четыре немецких царства и Францию в придачу. А обитают в этой небольшой земле разноязычные народы и, между прочим, народ русский и самый *православный*. И этот-то народ русский не пашет и не сеет совершенно ничего, кроме дынь и арбузов, а хлеб ест белый, пшеничный, называемый по-ихнему калаца, и воспевает свою славную реку, называя ее кормилицей своей, золотым дном с берегами серебряными.

Грустно видеть грязь и нищету на земле скудной, бесплодной, где человек борется с неблагоприятной почвой и падает, наконец, изнеможенный под тяжестью труда и нищеты. Грустно! невыразимо грустно!

Каково же видеть ту же самую безобразную нищету в стране, текущей млеком и медом, как, например, в этой земле благодатной? Отвратительно! А еще отвратительнее встретить между этой ленивой нищеты обилие и при обилии отвратительную грязь и невежество!

А в этой стране благословенной это встречается не редко, а даже очень часто.

Какие же могут быть причины нищеты в краю, текущем млеком и медом?

На сей важный политико-экономический вопрос я на досуге напишу четырехтомный нравоописательно-исторический роман, в котором потщусь изобразить с микроскопическими подробностями нравы, обычаи и историю сего архиправославного народа.

А пока созреет этот знаменитый роман в моей многоумной голове, я расскажу вам вот что.

Есть в этой благодатной стране, неглубоко под землю, огромная глыба соли, а на этой глыбе соли построена небольшая крепостца, называемая в простонародии Соляною Защитой.

Обстоятельства заставили меня побывать однажды в этой Соляной защите.

В первое воскресенье моего там пребывания увидел я в церкви старика, совершенно седого, но еще довольно свежего и необыкновенно выразительной и благородной физиономии.

Он в церкви исправлял должность причетника, ставил свечи перед образами, снимал со свечей, гасил догоревшие и в конце обедни ходил с кошельком вместо церковного старосты.

Его величавая наружность меня поразила. Огромный рост, седая длинная волнистая борода, такие же белые густые вьющиеся волосы, темные густые брови. Лицо правильное, чистое, с легким румянцем на щеках, как у юноши. Словом, он мог бы быть прекрасной моделью для Мойсея-Боговидца или для гомеровского Нестора.

Пленившись симпатически старческой прелестью этого почтенного мужа, я, выходя из церкви, спросил у хромого инвалида, кто такой этот почтенный старец, что снимал со свечей перед образами.

Инвалид отвечал мне довольно лаконически:

— Это, батюшка, бывший *варнак*, а теперь здешний посельщик. Добрейшей души человек.

После этого ответа я остановился около церкви и провожал глазами заинтересовавшего меня старика. И чем более смотрел я на него, тем менее находил я в нем сходства с варнаком.

Однако ж инвалид не мог сказать зря такого слова!

Я вспомнил, что прежде здесь добывалась соль арестантами и что многие из них, кончивши свой тяжкий термин, были поселены тут же, смотря по нравственности.

Но неужели такая благородная наружность могла принадлежать преступнику?

И я решился узнать подробнее о прошлом этого замечательного наружностью старика.

В продолжение недели я узнал, что он действительно здешний поселенец, и что человек испытанной честности, и человек, хотя и не богатый, но и не бедный, живет в своем собственном домике, хотя и небольшом, но живет так, как дай Бог и в хоромах бы жили: чисто, сытно и честно.

Имеет он у себя человек десять работников, хотя из киргиз, но дай Бог, чтобы и русские так работали, как эти полудикари.

И что на будущий год его непременно выберут церковным старостой за его добродетели. И т. д.

Я решился познакомиться с ним лично и при благоприятном случае узнать точнее его прошлую жизнь, и если найду в ней что-либо нравственное, назидательное или по крайней мере занимательное, то запишу все это, предам тиснению, назидания или увеселения ради.

Случалось ли вам встречать старика такой почтенной, благородной наружности, что невольно снимешь шапку и поклонись ему?

Со мной это часто случалось.

Однажды встретил я его идущего от вечерни и невольно ему поклонился. Он мне вежливо ответил поклоном и спросил:

— Вы, кажется, не здешний? Я вас не встречал здесь прежде.

— Вы не ошиблись. Я, действительно, недавно приехал в вашу Защиту.

— А позвольте спросить, издалика ли?

Я сказал ему место моей родины.

Старик мне судорожно подал руку, которую я чуть-чуть не поцаловал.

— Вы земляк мой! — сказал он грустно. — Давно ли вы оставили нашу прекрасную родину?

— Не более года, — отвечал я.

— Какой вы счастливец! Вы так недавно видели наш Богом благословенный край! А я вот уже

лет тридцать с лишком не видал его! Что-то там теперь делается?

И у старика навернулись слезы.

— Ежели досуг вам, — сказал он, — то не побрезгуйте мною, посетите меня, пусть я хоть посмотрю на вас, на земляка моего! Будьте добры и ласковы, не откажите мне!

Я, разумеется, был рад такому предложению.

И через несколько минут мы подошли к небольшому беленькому домику, соломой крытому; наружность его мне напомнила Малороссию.

У ворот встретила нас пожилая женщина в малороссийском платье и приветствовала нас добрым вечером.

— Добрый вечер, Мотре! Прошу покорно в нашу хату, — сказал он, обращаясь ко мне. — Здесь, видите, неподалеку живут земляки наши, курские и харьковские, так я и взял себе в работницы землячку, — оно все как-то лучше.

Говоря это, он ввел меня в свою хату.

Внутренность хаты, как и наружность ее, напоминала Малороссию. Стены вымазаны белой, а пол желтой глиной и усыпан ароматными травами. Вокруг стен чистые широкие дубовые *лавы*. А перед образом Всех скорбящих Матери теплилась лампада и стоял налож, покрытый чистым, белым, с широкою бахромою полотенцем. На налож лежала книга, с виду похожая на Псалтырь, *in quattro*.

— Прошу, садитесь, дорогой мой гость!

Я сел и стал внимательнее рассматривать комнату или, лучше сказать, любоваться ею.

Везде во всем видно было порядок доброго хозяина и заботливость хозяйки, все было чисто и привлекательно. Комната была разделена на две половины узкою, длинною печкой вместо перегородки. А печка украшена лепными арабесками домашнего художества. (Такие печи можно видеть на Волыни и Подолии.) В углу перед образами стоял стол, покрытый бухарским ковром и сверху белой скатертью. На столе лежал ржаной хлеб, вполовину покрытый тонким белым полотенцем, вышитым разными цветными шелками; около хлеба стояла фаянсовая солонка с белой, как рафинад, солью, и тут же, на другом конце стола, лежала большая книга, вроде Четии Минеи, в красном сафьянном переплете, с золотыми вытиснутыми и почерневшими от времени украшениями. Это была Библия (как я после узнал) — изящное киевское издание 1743 [года], с высокопарным посвящением гетману Разумовскому (издание весьма редкое). Между окнами на стене висел в позолоченной рамке эстамп, выгравированный Миллером с картины Доменикино Цампиери, изображающий Иоанна Богослова. Около двери в углу стоял посох степного дерева *джигилу*. И тут же около посоха на гвозде висели кандалы.

Старик в продолжение этого времени хозяйничал вне хаты и возвратился в хату в то самое время, когда я смотрел на кандалы.

— Что, земляк, любишься на мой трофей? Тяжкий трофей! Я завоевал его многолетним преступлением и принес его сюда на ногах своих из самого Житомира. Здесь носил я его двадцать лет и теперь еще казняю им и буду казниться и исповедовать ему грехи свои до гробовой доски.

Все это было сказано таким грустным, потрясающим душу голосом, что я не мог сказать слова утешительного бедному старику и сидел молча, пока он сам не заговорил.

— Прости мне, старому грешнику, земляк, я возмутил твою душу своим нечистым воспоминанием! Что делать? Против воли рвется на язык! Я держу у себя этот проклятый знак человеческого унижения для казни собственной души. Но оставим в покое прошлое, а поговорим лучше о чем-нибудь другом. Расскажи мне, друже мой, что-нибудь о нашей прекрасной Волыни и Подолии!

Но я совершенно не мог ни о чем говорить и вскоре простился с ним.

Он меня не удерживал, просил только навещать его, как время позволит.

Мне время позволяло, и я посещал его почти ежедневно, и часто мы с ним заговаривались до полуночи. И всякий раз я открывал в нем новые добродетели, новые достоинства. Он был образован, как любой аристократ того времени, с тою разницею, что любил читать, и в особенности италийских поэтов: Боккаччио, Ариосто, Тасса. А «Божественную комедию» он наизусть читал.

— Давно я уже ничего не читаю, — сказал он мне однажды, — кроме этой божественной книги! Да и к чему теперь читать? Было время, читал, восхищался дивными созданиями прекрасного искусства! Теперь довольно, я состарился, огрубел, я ничему уже не могу сочувствовать, как бывало когда-то! Да и к чему, правду сказать, послужило мне чтение? Мои чистые, молодые сочувствия? Что я из них сделал? Или, лучше сказать, что люди из них сделали? Грех! И бесконечное горе!

Если б я не читал ничего, не увлекался ничем, не то бы из меня было: был бы я себе простым пахарем, добрым человеком... А теперь что я?

Мы с ним каждый вечер делались откровеннее и откровеннее.

Однажды я навел его на мысль, чтобы он мне поверил свое горе, чтобы рассказал мне про свои прежние, молодые лета!

Он долго как бы не хотел меня понять, ему неприятно, горько было вспоминать свое прошедшее. И однажды сказал он мне:

— Друже мой! Ты хочешь моей исповеди! Ты желаешь знать мою прошлую бесталанную жизнь. Тяжело будет слушать тебе, друже мой добрый, потому что прошлая жизнь моя исполнена греха и беззакония. А настоящая, как ты сам видишь, — немощь и одиночество вдали от моей [прекрасной?] и милой Волыни!

Я знаю, ты будешь слушать с участием мою сердечную исповедь и тебе будет горько ее вчуже слушать.

Слушай же, мой благородный друже! Она мне душу освежит, моя грустная нелицемерная повесть.

И он вздохнул, перекрестясь, и начал свою повесть с самых ранних лет своего детства.

На гранитных берегах прекрасной реки Случи, где она, верстах в десяти выше Новограда-Волынского, извившись подобно змии, образовала правильное кольцо версты две в поперечнике, в центре этого кольца стоят окруженные дубровою остатками огромных каменных

палат. Прежде бывшее жилище одной знатной польской фамилии, а теперь жилище сов и нетопырей!

Это дело моих проклятых рук! Я поселил там змию и ночную птицу. О! Господи, прости мне сей грех невольный! грех великий!

По косогору, спускаясь к самой реке, лежит укрытое фруктовыми садами большое село с почерневшею от времени деревянную треглавою церковью.

Эти церкви у нас поляки называют козацкими, вероятно

потому, что большая часть этих церквей построена козаками

во времена унии, на скорую руку, и представляют они собою

тип простой, грубой, хлопской, как говорят поляки же, архитектуры.

Это село — моя родина! В этом прекрасном селе я родился на грех и на страдания!

Отца своего я не помню; а мать как во сне вижу, когда в гроб ее положили и понесли на *парах* на кладбище.

И едва помню еще, когда священник над ее телом прочитал молитву, напечатанную на большом листе красными и черными буквами, и, прочитавши, накрыл ей лицо этою молитвою; потом заколотили гроб и опустили в яму. Священник заступом крестообразно запечатал яму и заставил меня бросить горсть земли на гроб моей матери. Я бросил и пошел за людьми в село.

Помню еще, в нашей хате было много людей и все обедали, только не шумно, а тихо и скромно: вдова, как видно, не оставила по себе обильных поминок.

Во время обеда я играл с детьми на дворе, а когда все разошлись после обеда, то меня и дети покинули, и я остался один с моею заузданной палочкой-лошадкой. Вошел я в хату. В хате соседка наша, тоже горемычная вдова, убирала посуду, дала мне кусок пирога, я съел его и заснул на материнной постели. Старушка, прибравши все в хате, заперла ее на засов и ушла к себе домой. Я проспал в пустой хате всю ночь один, и, проснувшись поутру, я чего-то испугался и заплакал.

Плакал я недолго. Вскоре пришла соседка-старушка и принесла мне полную миску угорок-слив и утешила меня.

Старушка посыпала курам пшена и, накормивши серого кота и рябую собаку, взяла меня и повела к себе домой.

У вдовы была дочь, старше меня несколькими годами. Она меня приласкала, накормила яблуками, грушами и тому подобными сладостями.

Когда я уходил к себе домой, то она меня всегда провожала, и когда начинал плакать дома, не найдя в хате матери, то она утешала меня, говоря, что мать моя поехала на ярмарок и привезет мне гостинца — медяного москаля. Чем я, разумеется, и утешался.

И так мало-помалу стал я забывать свою великую потерю при помощи вдовиной прекрасной дочери.

Я привязался к ней, как к сестре родной, и она, действительно, заменяла мне сестру родную.

После я думал матерью ее назвать, но Богу не угодно было благословить мое предположение!

Часто посещал я свою бедную опустелую хату!

Скажите, что может быть грустнее пустки?

Я до сих пор помню то страшно грустное впечатление, которое тогда меня одолевало!

В Великом посту, на Страстной неделе, священник, обходя с молитвою село, посетил и мою бедную благотельницу и, увидя меня, взял к себе, обещаясь вывести меня в люди.

У священника был сын Ясь, моих лет, и, не знаю почему, он мне с первого взгляда не понравился.

Меня посадили за букварь вместе с Ясем. Мне это было весьма не по нраву, однако я учился с успехом, а Ясь был туп. Яся хвалили, а меня называли ленивцем и тупицей. Мне эта несправедливость казалась обидною, и я стал бегать от попа к своим благотельницам, откуда меня приводили обратно к попу, а поп меня жестоко наказывал за побеги.

Однажды убежал я от попа к своим друзьям и, бояся войти к ним в хату, просидел целый день в бурьяне под тыном, выжидая, не выйдет ли сестра из хаты; я звал сестрою дочь вдовы. Наконец она вышла, я показался ей и попросил хлеба. Она мне вынесла большой ломоть хлеба и кусок свиного сала. Я сквозь слезы поцаловал ее и скрылся в густом сливнике.

Утоливши голод, я начал помышлять о ночлеге.

Идти к попу — будут бить, идти ко вдове — она отведет к попу и все-таки будут бить.

Идти в свою пустку ночевать — страшно. Размышляя таким образом, я очутился за *царыной* (выгон).

А за *царыной* стояло в копнах сжатое жито. Не рассуждая, я отправился к копнам и в первой копне приютился и заснул сном непорочности.

Ночью просыпаюсь я и слышу вдали вой волков.

До сих пор не могу я забыть того неприятного чувства. Это не страх за жизнь, а что-то смешанное со страхом и отвращением.

Вой волков начал стихать понемногу, и я, скорчившись от холоду и накрывшись снопом, снова заснул.

Понутру рано разбудил меня арапником *лановой*.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он меня грозно.

— Сплю! — отвечал я ему.

— Я тебе дам сплю. Нашел место спать! Разве у тебя хаты нет?

— Есть, дядюшка, только пустка, — сказал я ему сквозь слезы.

— Ну, а отец и мать у тебя есть?

— Нету, дядюшка, я сирота.

— Ну, а коли сирота, так иди же за мною!

И он поворотил свою лошадь к дороге, ударил ее слегка арапником и поехал. А я пошел босиком по колючей *стерни*, дрожа всем телом от холода и страха.

«Не поведет ли он меня, — так я думал себе, — Боже сохрани, к попу!» И при этой мысли я хотел от него бежать в село и спрятаться где-нибудь в бурьян, но он поминутно оглядывался на меня и, направляя свою лошадь в противоположную сторону от села, привел меня на панский двор и отдал на руки управителю, рассказавши, где и как меня нашел.

Управитель был добрый старичок пан Кошулька. Велел мне сшить курточку и шаровары из домашней *пистри*. И я сделался у него домашним козачком. Жил я у пана Кошульки осень и зиму. Немногим лучше мне было у него, чем у попа, — разница только та, что не учили грамоте, а бил и щипал меня, кто хотел.

Весною однажды увидела меня на дворе старая графиня (управитель жил с нею на одном дворе, только в особом флигеле), подозвала меня к себе, спросила, как зовут, и ушла в свои покои.

На другой день после этого случая сняли с меня мерку и начали шить новое платье — и уже не пистревое, а суконное, и сукна тонкого, дорогого — и сапоги, и шапку, а прежде я так ходил.

Когда все было готово, дали мне чистую рубашку, чего прежде также не бывало.

И когда меня умыли, причесали, одели в новое суконное платье, тогда сам пан Кошулька надел новый синий фрак с медными пуговицами и повел меня в графинины покои.

Дежурный гайдук доложил о нас графине. Графиня велела звать нас в приемную. В приемной мы долго ее ждали, и пан Кошулька не смел сесть на стул. Я удивлялся: в комнате так много стульев, а он не хочет сесть ни на одном.

Наконец графиня вышла.

Приветствовала пана Кошульку легким наклоном головы и велела позвать панну Магдалену.

Через минуту из боковых дверей явилась панна Магдалена.

Очаровательное, незабвенное видение!

Я как теперь ее вижу: молодая, стройная, прекрасная! Ее задумчивые голубые выразительные глаза были устремлены прямо на меня. По мне пробежал какой-то невыразимо приятный трепет.

Панна Магдалена была дочь одного промотавшегося пана, и, благодаря хорошему воспитанию, она была принята графинею к себе в дом в виде компаньонки для себя и гувернантки для малолетнего своего сына.

— Вот, друг мой Магдалена, — сказала графиня, — рекомендую тебе компаньона и лакея моему бедному Болеславу. Возьмите его к себе, пусть они вместе играют в свободное время.

Графиня вышла. А панна Магдалена взяла меня за руку и повела к себе в покои.

В покоях панны Магдалены встретил меня мальчик моих лет, только такой худой и зеленый; это был граф Болеслав, единственный сын графини. Он довольно нагло спросил меня:

— Как тебя зовут?

Я тихо отвечал ему: «Кириллом».

— Фи, какое хлопское имя! Ну, да это ничего, я тебя буду звать Яном. А что, Ян, ты в лошадки умеешь играть?

— Нет, не умею, — отвечал я.

— Ну, так я тебя выучу!

И сейчас же принялся меня учить играть в лошадки. Хотя я эту науку понимал не хуже его, но мне почему-то не хотелось быть с ним откровенным.

На другой день поутру, когда граф Болеслав еще спал, панна Магдалена накормила меня булкой с горячим молоком и с участием сестры спросила меня, кто был у меня отец и кто мать и где они теперь?

Я рассказал ей все с такими подробностями, что она поцеловала меня и заплакала.

С той поры она каждый божий день поила меня по утрам горячим молоком и кормила сладкими булочками.

— Ну, Ясю! (Меня все в доме звали Ясем.) Ну, Ясю! — однажды поутру сказала она мне. — Хочешь ли ты учиться грамоте?

— Я уже учился у попа грамоте, — отвечал я, — но если вы будете меня учить, то я опять буду учиться, а если не вы, то я не хочу, чтоб меня учили грамоте.

Она улыбнулась и сказала:

— Я сама буду тебя учить, — и подала мне французскую азбучку.

— Посмотри, ты знаешь эти буквы?

— Нет! Мне показывали у попа другую азбучку.

— Ну, так я тебя буду учить по этой азбучке, по этой легче!

И тут же принялась мне показывать новые для меня буквы.

К удивлению ее и радости, я в один день выучил все буквы французского алфавита.

Когда я начал довольно бегло читать по-французски, она стала учить меня по-итальянски, — это был тогда модный и любимый ее язык.

Я и тут показал довольно быстрые успехи, так что в непродолжительном времени сравнялся в познаниях с графом Болеславом, к невыразимой радости панны Магдалены.

Мир душе твоей, прекрасное, доброе создание! Никогда я не забуду твоих ласковых, приветливых речей! твоего сердечного участия в судьбе моей печальной!

Она полюбила меня так, как только может любить мать свое единственное дитя.

Всеми возможными ласками поощряла она мои успехи.

Бедная, она не предвидела следствий моему неуместному образованию!

Время шло своим чередом; я подрастал, учился с прилежанием и успехом.

С графом Болеславом мы не могли подружиться совершенно, в нем было что-то отталкивающее, какая-то преждевременная, наглая, недетская спесь. Он иногда показывал мне приязнь за то, что, бывало, когда он нашалит не в меру, то я всю вину брал на себя, что мне, разумеется, не проходило даром.

Вследствие его шалостей прослыл я почти разбойником; великодушие мое было известно только одной панне Магдалене и всегда вознаграждалось необыкновенными ее ласками.

Графиня была женщина светская, избалованная прежними успехами на поприще светской жизни, любила у себя банкеты, где, разумеется, первенствовала между провинциалками, читала италиянские и французские новеллы и больше ничего не делала. Сын вырастал хотя и под одной крышей с нею, но она его видела раз или два в день, и то мимоходом.

Однажды заметила она, что Болеслав уже мальчик порядочный ростом и что нужно для него выписать учителей, потому что она намерена приготовить его для университета.

Пригласили учителей, начались уроки. Я в виде слуги присутствовал при этих уроках и заучивал все то, что было читано и толковано графу.

Я почти всегда готовил графа к экзамену, потому что он ничего не мог или не хотел помнить из уроков учителей.

Панна Магдалена по-прежнему меня ласкала и лелеяла и разговаривала со мною не иначе, как на италиянском языке. И по вечерам, проэкзаменуя меня из того предмета, который я слушал в учебной графа, она давала мне уроки на фортепиано.

Сама она — настоящая артистка на этом инструменте. Часто, бывало, после моего урока она просиживала до полуночи за фортепиано, варируя чудные создания Бетговена (это был ее любимый композитор и только что явившийся в музыкальном мире).

Я, бывало, сижу в уголку, не пошевельнуся, сижу и слушаю, слушаю и заплачу, сам не знаю отчего.

Музыку я полюбил страстно, и этой любовью я обязан панне Магдалене.

Через год с небольшим мы с нею играли в две руки некоторые сонаты Моцарта и Бетговена.

Однажды графиня застала нас за фортепиано и была очень недовольна, заметя весьма справедливо панне Магдалене, что я рожден не для музыки, а для рала и плуга.

Панна Магдалена почувствовала всю важность этого замечания, обняла меня и горько зарыдала.

За нею заплакал и я, не вполне разумея благоразумное замечание графини.

Граф быстро вырастал и учился весьма медленно и тупо; нельзя сказать, чтобы он был вовсе

без способностей, нет, в нем были кое-какие способности, но и те были заглушены небрежением матери.

Графиня постоянно восхищалась успехами своего милого Болеслава, а успехи Болеслава ограничивались гармоническим лепетаньем на итальянском языке; она была в восторге и больше ничего не требовала от своего милого Болеслава, хотя и готовила его для университета.

Учителя получали исправно содержание и жалованье и делали свое дело, как наемники или как большая часть учителей.

Читали ему ежедневно свои уроки или на досуге рассказывали ему про псовую охоту и т. п. анекдоты.

Одна панна Магдалена с чувством матери заботилась о его моральном образовании; но неуместные восторги графини мешали ей, и Болеслав уже очень хорошо понимал (тоже, может быть, учителя поселили в нем это понятие), что он граф, и о граф богатый, что ему не нужно никаких познаний и добродетелей. И часто грубыми своими выходками приводил бедную панну Магдалену в слезы.

Мне было больно смотреть на эту благородную, прекрасную женщину. Я в душе возненавидел Болеслава, и если б не она, то я давно бы ему свернул голову.

Но она, бедная, жестоко оскорбленная, бывало, приголубит меня и повторяет мне святые слова: *«Любите и ненавидящих вас»*.

Я забыл вам сказать, друже мой добрый, что графиня была ни вдова, ни мужнина жена, как говорится.

Муж ее бросил и жил постоянно в Италии, быстро проматывая свое прекрасное подольское имение.

А графиня с сыном жила, как вам уже известно, на Волыни и занималась (как она сама говорила) эдукацией единственного сына.

Теперь скажите мне, какой добрый, нравственный пример мог видеть мальчик в семейной жизни своих родителей?

Прежде он часто, бывало, спрашивал у своей нежной матери: скоро ли приедет папаша?

На что мать ему отвечала, что его папаша негодяй и что если он и приедет когда-нибудь, то она его в дом не пустит.

Хорошо было слушать сыну от матери подобные слова!

Впрочем, в быту богатых людей подобная семейная распря не редкость, следовательно, и на молодого графа это не делало большого впечатления.

Домашнее воспитание графа кончилось; надобно было выбрать приличное его породе учебное заведение, в которое можно было бы послать его для окончательного образования.

По этому случаю дан был большой банкет; а после банкета, на другой день, приглашены были

гости на домашний сейм, на котором было рассуждаемо, куда именно послать графа для окончательного образования.

Перебрали все лицеи, все университеты, начиная с Геттингенского, и, наконец, общим голосом решили послать графа в Вильно и приготовить из него политике— эконома.

После этого важного события, спустя месяц, дала графиня еще большой банкет, на котором молодой граф отличился в мазурке.

Через несколько дней после банкета уехал он в огромном дорожном берлине в Вильно.

Я почувствовал себя свободнее: он стоял перегородкой между мною и панной Магдаленой; мне нельзя было при нем сказать ей простого слова, чтобы не подвергнуть ее, бедную, насмешкам злого мальчика.

Наконец, он уехал, и мы остались одни, и действительно одни. Во всем доме не было никого, с кем бы можно было так дружески и так откровенно поговорить, как мы с нею разговаривали.

Старая графиня едва замечала ее присутствие в своем доме. Ее это грубое невнимание тревожило, она несколько раз собиралась оставить графиню, но где она, бедная, могла приклонить свою одинокую голову?

Она готова была выйти замуж за самого грубого посессора, чтоб только избавиться ей графини.

Но грубые посессоры на бедных девушках не женятся, а она, бедная, совершенно ничего не имела, кроме чистого, благородного сердца!

Открывая свои задушевные мысли, она мне говорила, что останется в этом доме только до тех [пор], пока я не вырасту и не буду в силах располагать собою; тогда она отправится в Варшаву или в Вильно и примет чин смиренной кармелитки.

Мир твоей доброй, твоей праведной душе!

Грустно мне было выслушивать ее задушевную исповедь, ее непорочные предположения.

Бывало, просидим за полночь, наговоримся, наплачемся и расстанемся до другого вечера почти счастливыми.

Часто свои грустные проекты она кончала симфонией Себастиана Баха на домашнем органе.

Это была святая Цецилия! И я, затаив дыхание, слушал ее и молился на нее. Это были самые чистые, самые счастливые минуты моей печальной жизни.

Меня засадили в экономическую контору писать. И тут-то [я] почувствовал свою горькую зависимость.

Тут я впервые услышал слово *крепостной*.

Горькое! проклятое слово! И день тот проклят, в который я его услышал в первый раз!

Но делать было нечего! Нужно было покориться судьбе! Тяжкое для меня настало время!

Одна только незабвенная панна Магдалена могла укрощать и успокаивать меня. Я ей одной

обязан, что не наложил на себя грешные руки!

А может быть, было бы и лучше? Нет! Как ни печальна, как ни тяжела наша жизнь, но мы не вправе ее прекратить.

Пусть тот ее от нас отнимет, кто даровал нам ее.

Я продолжал писать в конторе, а по вечерам посещал пано ну Магдалену.

О чем мы с ней ни говорили? О чем мы с ней ни мечтали? И все-то наши мечты и предположения разошлись, как дым по светлому небу!

Она мне сообщала книги, какие только могла отыскать порядочного содержания в домашней библиотеке графини, потому что вся почти библиотека была составлена из романов.

В конторе писаря смеялись надо мною, называя меня панычем, белоручкой, немцем, потому что я читал не русские и не польские книги.

Однажды во время *жнив*, или, по-здешнему, страды, послали меня с *лановым* на *лан* переписать жниц и копны нажатой пшеницы.

Проходя мимо жниц, я увидел женщину, как будто мне знакомую, и около ее, между снопами и прикрытая зеленым *холодком* (спелая спаржа), спала девочка лет десяти, украшенная полевыми цветами; около ее, в тени, *тыква* (кувшин) с водою и торба с хлебом.

Я долго любовался прекрасным личиком спящего дитяти.

Налюбовавшись этою скромною, прекрасною картиною, я спросил у почти знакомой мне женщины, как ее имя, чтобы записать в реестр жниц. Она сказала мне свое имя. Имя и голос мне показался чрезвычайно знакомым.

Я спросил ее, не дочь ли она, Домаха, такой-то вдовы?

Она отвечала, что она самая.

— А это твое дитя?

Она отвечала: «Мое!»

Я расспросил ее о ее домашнем житье-бытье. Напомнил ей тот вечер, когда она мне, голодному беглецу, вынесла кусок хлеба.

Она вспомнила, узнала меня и обрадовалась, как родному брату. И просила меня навестить ее в старой материной хате.

В следующее же воскресенье, после обедни, посетил я ее в знакомой мне хате. И из грустного ее рассказа узнал я вот что. Старушка-вдова, моя благодетельница, давно уже умерла, а после смерти матери она вышла замуж. Муж вскоре бежал на Бессарабию, бросил ее одну с маленькою дытыною. Рассказала она мне все это так просто, так трогательно, как только рассказывается самая печальная истина.

Просила она меня остаться у нее обедать, чем Бог послал. Я остался; и она, бедная, почти плакала, что не было у нее и пятака на четвертку горилки. Бедная!

Во всей хате ее была видна скудость и нищета. Но при всем том все было чисто и опрятно. Старая хата была тщательно вымазана, хотя и желтой глиной, — белую глину нужно купить или на хлеб выменять, а за желтой стоит только сходить на берег Случи.

Вся бедная домашняя утварь была в чистоте и порядке. Рубахи, как на ней самой, так и на дочери, были чистые, белые. Все у нее было в таком порядке, что и самая нищета показалась мне не так отвратительною, как я себе ее воображал.

Простившись с нею, я пошел домой, обещаясь навещать ее каждое воскресенье.

По дороге зашел я в свою старую пустку. Печальный вид! Окна выбиты, двери выломаны, дорожки поросли бурьяном, а в провалившейся печи сова гнездо себе свила!

Посмотрел я на это запустение, и мне стало грустно, я страшно почувствовал свое одиночество.

Мне пришло в голову возобновить свою пустку и поселиться в ней. Но что я буду делать в ней один? Жениться? На ком же я женюсь? На крестьянке? Как же я с нею буду жить?

И, подумавши, решился я возобновить свою пустку и поселить в ней мою ново-старую знакомку с дочерью. Девочке в это время было лет десять, не более, мне было семнадцать лет. Воспитаю ее по-своему и женюсь на ней. Подумал, подумал и пошел я в свою контору.

Дорогой разыгралось мое молодое воображение. Я представлял себе все счастье, всю прелесть своей будущей семейной жизни.

Вечеру сообщил я свой план панне Магдалене. Она была в восторге, плакала, целовала мои руки, называла меня своим сыном, своим родным братом, говорила, что я делаю доброе христианское дело, укрывая от нищеты и горя вдову и сироту. В заключение обещалась помогать мне всем: и советами, и деньгами, и научить мою будущую жену и грамоте, и музыке, и хозяйству.

На другой день я принялся за дело; выпросил себе свободы на несколько дней, нанял мастеров, и началось возобновление моего детского жилища.

К хате вместо коморы прибавил я светлицу; сад огородил новым частоколом, около хаты оставил место для цветника; не забыл также сарая для коровы и прочих домашних животных; словом, устроил все, что необходимо для крестьянского быта.

И когда все это было готово, пошел я просить свою соседку на новоселье.

Заплакала она, бедная, когда сказал я ей, что все это устроено для нее и ее маленькой Марыси.

В воскресенье, после обеда, пошли мы навестить их с панною Магдаленою, и как же она, бедная, была рада, что ею и панна не погнушалась.

Так как хата моя была недалеко от панского двора, то мы с панною Магдаленою каждый день посещали нашу воспитанницу. Панна Магдалена учила ее читать по-польски, а я порусски. Мне не хотелось ее больше ничему учить, я все как-то не верил в свое и ее счастье.

Быстро мчались мои молодые годы! Быстро выростала Марыся, и выросла, и стала красавицей, настоящей волынянкой-красавицей. Боже мой! Я, бывало, смотрю на нее и не насмотрюсь. А

бывало, когда в саду вечером запоет под гитару нашу заунывно-мелодическую песню! В это время я плакал и молился Богу! И какая же умная-разумная была! Панна Магдалена, бывало, не налюбуется ею, не надивуется ее понятливости. Я был счастлив, она меня любила и, следовательно, была тоже счастлива. Насущные дела мои тоже двигались вперед. Я из простого писаря сделался конторщиком, а по смерти пана Кошульки и управляющим именными графини.

Было предположено, чтобы после праздника Рождества Христова обвенчаться нам с Марысею. Панна Магдалена была прошена посаженной матерью с моей стороны, а посаженным отцом почтенный сосед наш *тытарь* (церковный староста). Все было готово, но не сбылось!

Кончивши курс в университете, бог его знает, по какому факультету, граф не захватил даже повидаться со старухой матерью, отправился за границу (для усовершенствования себя в некоторых науках, — так он писал по крайней [мере] матери). Разумеется, старая графиня была в восторге от такого похвального рвения к наукам.

Нежная мать посылала ему исправно деньги и в каждом письме просила его, чтобы он скорее усовершенствовался в науках и ехал бы домой, потому что она уже старуха, близкая гробу, то хоть бы посмотреть на него перед смертью.

Но добрый сын не внимал мольбам старой матери. Она, бедная, постоянно плакала, — она его, наконец, полюбила и не знала, как заманить его к себе; а я, видя ее постоянно унылою и, действительно, близкою гробу, на погибель свою посоветовал ей не посылать ему денег, то он поневоле приедет. Старуха так и сделала. Через несколько месяцев нежный сынок возвратился к старой умирающей матери.

Возвратился он из-за границы с французом-камердинером и двумя бульдогами. И милой мама своей привез бронзовый браслет и анекдот о том, как он убил на дуэли (не зная, впрочем) родного отца своего, за что старуха мать наделила его самыми судорожными поцелуями.

Это было в сентябре месяце; мне нужно было в подольское имение графини, чтобы отправить пшеницу в Одессу и самому за нею вслед отправиться, чтобы продать ее. И я поехал.

Я поехал из Балты в Одессу на почтовых. Это было во время полнолуния. Я проехал две станции от Балты, и меня застала ночь в степи. Ночь лунная, светлая, тихая, очаровательная ночь! В степи ничто не шелохнется, ни малейшего звуку, ни малейшего движения; только когда проедешь мимо могилы, то на могиле будто *тырса* пошевелится, и тебе сделается чего-то страшно.

О могилы! могилы! высокие могилы! Сколько возвышенных, прекрасных идей переливалось в моей молодой душе, глядя на вас, темные, немые памятники минувшей народной славы и бесславия.

А еще, бывало, когда ночью далеко-далеко в степи чабан заиграет на *сопилке* (свирели) свою однотонную грустную мелодию.

О горе мое! что мне нельзя переселиться в тот чудный край и послушать на старости родную унылую песню!

Бывало, я часто останавливаю ямщика на дороге и слушаю чабана, слушаю, слушаю и не наслушаюсь. Ямщик, бедный, продрогнет от ночной росы и бездействия, а я сижу себе на телеге и слушаю, долго слушаю, слушаю, пока не заплачу.

— Пошел, гонец! Пошел живее! Карбованец на пиво! — И гонец встряхнет вожжами, махнет арапником, и кони полетели, колокольчик завизжал, заплакал, и вот опять в степи землянка, — это почтовая станция.

Мне будто легче, но ночевать не хочется, я требую лошадей и еду. На другом переезде то же, что и на первом, та же широкая степь и те же темные могилы. Тот же чабан, и та же заунывная песня, и та же прекрасная полная луна!

Приехал я в Одессу. Дождался чумаков своих, продал пшеницу и с мешком дукатов возвратился домой.

Горе меня, горе горькое дома ожидало!

Теперь, друже мой! теперь, на старости, после тяжких испытаний, я не могу вспоминать об этом равнодушно.

Отдавая графине отчет в своей поездке в Одессу и полученные мною за пшеницу деньги, я увидел мелькнувшую в другой комнате Марысю в голубом немецком платье (она обыкновенно носила наше национальное платье). Меня это в о сердце кольнуло.

От графини я побежал домой. Меня встретила в слезах мать Марыси.

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Боже ж мой, Боже милостивый!

— Что случилось?

— Доле моя! Моя проклятая доле!

Я долго стоял, не понимая ее. А она все плакала, проклинала свою долю и целовала мои ноги. Когда она пришла в себя, я спросил ее: «Что случилось?» Она сквозь слезы едва о проговорила:

— Графиня Марысю твою взяла в покоивки (в горничные)!

— Что ж, тут еще большого горя нет, я выпрошу ее у графини назад додому.

— Большое! Большое горе! — простонала она. — Молодой... молодой граф! Будь он проклят со всем его родом и племенем!

— Что же такое? Что граф?

— Не спрашивай, не говори со мною! Иди к нему, пускай он сам тебе все расскажет.

И она снова стала плакать и рвать на себе волосы, со стоном произнося имя Марыси.

Я, наконец, понял, что бедная моя Марыся сделалася жертвою гнусного, развращенного сластолюбца.

Боже мой великий! Зачем Ты меня не поразил тогда Своим святым громом! Сколько бы греха тогда пронеслося мимо моей грешной души!

Его судьбы неисповедимы. Он иначе судил меня!

Я, не помня себя, побежал во двор. Вошел в кабинет графа и увидел у ног его плачущую свою Марысю. Я бросился на него, и только два огромные гайдука спасли его от смерти.

Меня связали, и вынесли в погреб, и приставили сторожей.

Не помню, долго ли я находился связанным? Но когда пришел в себя, то я почувствовал, что лежу на соломе в сыром и темном погребе; нащупал я около себя ведро воды и кусок хлеба. Но мне пить и есть не хотелось. Я чувствовал во всем теле слабость, прошедшее казалось мне каким-то страшным сном.

Через несколько дней силы мои восстановились. Хорошая панна Магдалена присылала мне тайком чаю и белого хлеба. Но сама не решалась навестить меня.

Я пробовал несколько раз сломать дверь и уйти, но мне сторожа снаружи грозили веревкою. Веревки я не боялся, да дверь-то была железная, и силой нельзя было взять.

Сидел я в погребе до тех пор, пока граф, укравши у матери деньги, опять уехал за границу.

Меня из погреба выпустили ночью, и я, как дикий зверь, бросился за ворота. Это было зимою, и я без шапки побежал куда глаза глядят.

Вскоре я увидел в поле огонек и пошел на него. То была корчма. Я почувствовал холод и побежал к корчме.

Вошел в корчму и вижу — за столом сидят два широкоплечих мужика, и перед ними на столе стоит медная кварта с водкой. Я поздоровался, они мне молча кивнули головами. Я сел за стол и спросил себе кварту водки. Жид узнал меня и, подавая мне водку, с каким-то страхом показал мне глазами на моих соседей.

Я выпил стакан водки, потом другой, предложил моим соседям, они не отказались.

Завел я с ними разговор, и они на вопрос мой, что они за люди, сказали мне, что были в Одессе на заработках и теперь возвращаются домой.

Я почувствовал сладость хмеля и спросил себе еще кварту водки, они спросили две кварталы.

Вскоре стали они надо мной подшучивать, что я не выпил еще и двух кварт водки, а уже пьян. Я сначала отшучивался, а потом пустился в откровенности и рассказал им свою историю с самого детства, а в заключение заплакал. Один из них сказал мне, смеясь:

— Э, э! Земляче! *Бый лыхом об землю, як швець мокрою халявою об лаву.* Слезами, земляче, ничего не возьмешь. Мы тоже, как видишь, были люди бедные, обиженные, загнанные, ограбленные! А теперь, слава милосердому Богу, пануем! Да еще как пануем! Только глянь да посмотри! Ударь горем о землю! Пойдем с нами, с нами, вольными козаками, право слово, не будешь каяться! Мы живем вольно, весело! Палаты наши — зеленая дуброва! Майданы наши — степь широкая, привольная! Мы днем спим в своих зеленых палатах, а ночью гуляем и топчем ногами аксамит и золото! Что ж, товарищ, так? По рукам, что ли?

— Постой, дайте подумаю, — сказал я.

— А по-моему, земляче, и стоять и думать нечего. Пускай жида да паны думают, как им подальше дукаты прятать, накраденные у бедных мужиков! Не думай, а выпей-ка лучше вот этой думы.

И он налил мне стакан водки. Я выпил и протянул им руку.

— Вот это так! Вот это по-нашему! А то думать! А что выдумашь? Ей-богу, ничего. Чарки горилки не выдумашь, право!

— Гей, свиняче ухо! — закричал другой. — Давай вина! Давай меду! Давай пива! Горилки не хочу! Да слушай, свине! Чтоб было порося жареное! Я индыка и петуха терпеть не могу. Слышишь! Живо!

Бедный жидок задрожал и пошел с фонарем и *поставцем* в погреб.

Мы просидели за полночь. Они мне заплатили откровенностью за откровенность. Из рассказов их я узнал, что один из них был бежавший на Бессарабию отец моей Марыси. А другой тоже был беглый крепостной крестьянин, и промышляют они с *товариством* честным лыцарским промыслом, т. е. разбоем.

Перед рассветом они пошли в *стодолу* спать. Я хотя был сильно пьян, но заснуть не мог. Мне не давал сомкнуть глаза ненавистный граф.

Я тихонько встал, вышел из *стодолы* и пошел в село. Подошел к своей хате, обошел ее кругом. Горько мне было. Посмотрел я, посмотрел на хату, машинально вырубил огня и сунул трут в соломенную крышу. Через минуту она вспыхнула. Я остановился на улице, посмотрел, как горит мое добро, и пошел обратно в корчму, к своим новым товарищам.

Начало светать, когда я подошел к корчме. Разбудил товарищей, они были совершенно трезвы. Я был тоже почти трезв. Они выпили еще кварту водки, но я пить не мог. Взяли приготовленный жидом мешок с жареными курами и гусями и пошли молча через поле в дуброву.

И я пошел за ними. Долго я оглядывался на свое родное село, его уже не видно было, только слышен был какой-то гул и видно было зарево от моей бедной хаты.

Мы пришли на хутор, нашли там одну старуху, топившую печь. Товарищи мои спросили у нее:

— Что, не было Марка? — Старуха отвечала: «Не было». — Ну, вари обедать, а ты, приятелю, ложись да отдохни. — Я лег и заснул. Мне снился разбойничий притон. С испугу я проснулся и увидел, что я, действительно, нахожусь в разбойничьем притоне.

Прошел один только месяц, и я сделался настоящим разбойником. Правда, я никого не убивал, зато немилосердно грабил богатых жидов и шляхту и всякого, кто проезжал в богатом экипаже. И, начитавшись романов о великодушных рыцарях-разбойниках, мне вздумалось подражать им, т. е. брать у богатых и отдавать бедным. Я так и делал.

Прошел еще месяц, и меня единогласно провозгласили отаманом. Шайка моя быстро увеличивалась, так что по прошествии четырех месяцев у меня уже было более сотни удалых голов; с такою силой я брал уже смелость нападать открыто на господские дома, и не без успеха, потому что крестьяне изменяли своим тиранам.

Рыцарскими подвигами своими я снискал любовь крестьян на Подолии и Волыни. Слава о моем бескорыстии быстро распространялась между ними, а шайка моя еще быстрее вырастала, так что через полгода у меня считалось около трехсот товарищей. Я своей армии никогда не держал в одном месте, потому что прокормить ее было трудно и потому, чтобы полицию сбить с толку насчет моего местопребывания. Полиции я, правда, не очень трусил, потому что

крестьяне меня любили и в случае опасности укрывали.

Я иногда скоплял свою армию в одно место, не для того, чтобы сделать нападение на неприятеля, а для того, чтобы попить неделю-другую вместе. Для этого у меня в разных лесах были погреба или забытые древние пещеры, которые были известны только моим эсаулам и весьма немногим испытанным товарищам.

В погребах хранилось вино, съестные прочные припасы, оружие, свинец, порох и деньги.

Такой погреб был у меня один близ Звенигородки, в так называемом Братерском лесу. Этот погреб был вырыт, как говорит народное предание, гайдамаками в 1768 году. Другой такой же погреб — между Заславем и Острогом, тоже, кажется, гайдамацкой работы. А третий, самый большой, — около Киева, за оградой Китаевской пустыни — в лесу же. Это были огромные пещеры, вырытые, как кажется, во время Андрея Боголюбского. На горе, в которой вырыты пещеры, заметны и до сих пор следы земляных укреплений, может быть, ограды его загородного терема.

В этих-то пещерах пировал я по несколько дней со всем своим товариществом в виду Китаевской обители, а святые отцы и не подозревали этого.

Освещал я их белыми восковыми свечами, тут же, в Китаевской обители, приготовляемыми для Киево-Печерской лавры. Устилал я эти мрачные пещеры дорогими коврами, шальями и аксамитом. Шумно! весело было!

Иногда переселишься мыслию в тот край, вспомнишь бывалое и как будто помолодеешь!

Господи, прости мое согрешение! — И рассказчик набожно перекрестился.

Попировавши несколько дней, я распускал свою команду в разные стороны, назначая каждому отряду или прежнего утверждая эсаула, с наказом, чтоб все эсаулы назывались моим именем и прозвищем. Сам же я переряжался мужиком или паном и отправлялся в Киев или другой какой город.

Словом, я вел себя, как знаменитый Ринальдо Ринальдини.

Случалось часто мне бывать на берегах Случи, близ моего родного села, но я в село зайти боялся. Я не боялся измены со стороны крестьян, они были все мною наделены, кто деньгами, а кто натурою, как-то: волами, лошадьми и прочим. Я не боялся их. Но мне страшно было встретить Марысю или панну Магдалену.

Бывало, целые ночи просиживал я на берегу моей милой Случи, смотря на угасавшие огоньки в смиренных хатах мирных, покорных своей судьбе моих собратий. Бывало, плакал я и каюсь, но я слишком далеко зашел, чтобы можно было назад воротиться без помощи искреннего друга. Я несколько раз покушался навестить панну Магдалену. И всякий раз раздумывал. Мне стыдно, мне страшно было ее видеть! Так боится дьявол встретить чистого ангела! В это время я был самый жалкий, самый несчастный человек!

Походивши около села, полюбывавшись на светлые воды Случи, я удалялся в лес, как волк, бояся встречи человека. В лесу находил я одну из своих шаек, увешивал широкие ветви столетнего дуба дорогим ковром и бархатом и принимался пить с своими преступными товарищами.

Я думал окунуть свою грязную совесть в дорогом вине, но не тут-то было! Она выплывала из

вина и бешеной кошкой впивалась мне в сердце!

В эти страшные минуты являлась мне, как будто наяву, панна Магдалена и моя прекрасная бракоокраденная невеста. Они являлись мне, как два ангела, и говорили со мной так тихо, сладко, так приятно, что я приходил в себя совершенно счастливым человеком.

Однажды я решился написать письмо, и в письме своем просил я у них свидания наедине. Местом свидания я назначил пустую хатку в саду у нашего тытаря, предполагаемого моего посаженного отца.

Я решился оставить свое проклятое ремесло и готов был сделаться хоть каторжником, только [бы] очистить свою грязную совесть.

Я тщательно скрывал свое намерение от товарищей, да и к чему [бы] повела откровенность? К грубым насмешкам и больше ничего!

С трепетом дожидал я дня, назначенного мною для свидания с панною Магдаленою.

В это время шлялся я с своим малым отрядом около Луцка.

Однажды из лесу заметили мы: большой дорожный берлин катился в пыли по столбовой дороге.

Я скомандовал своим удальцам: *«Из яру на долину!»*, т. е. выйти на дорогу и остановить берлин. Сказано — сделано. Берлин остановили. Он мне издали показался знакомым, и, пока я подбежал к нему, чтобы увериться, не ошибаюсь ли я, чемоданы от берлина были уже отрезаны и сам хозяин был донага раздет и дрожал за свою жизнь.

И кого же я узнал в этом нагом человеке?

Своего злейшего врага! Развратного сластолюбца, графа Болеслава.

Признаюсь, мне было смешно и больно смотреть на него. Он меня тоже узнал и затрепетал всем телом.

Я отвернулся от него и приказал привязать чемоданы, развязать и одеть графа и его камердинера-француза. И дал еще червонец ямщику на водку и отпустил их с Богом, не тронувши ни волоска.

Граф со страха не мог проговорить слова, а француз, усевшись на козлах, вежливо приподнял шляпу и сказал: «Мегсі, топ8леиг».

После этого происшествия мне казалось, что я смело могу идти на свидание с панною Магдаленою. Я мечтал уже о ее тихих, сладких речах, о ее прекрасном, милосердом взгляде. Я воображал себя покаявшимся, безмолвным, покорным тружеником где-нибудь в глухом монастыре или в далекой ссылке с очищенной совестью. Я был счастлив!

Но Бог судил продлить мои преступления.

На дороге я сильно заболел. Меня привезли товарищи на хутор в лесу близ Дубно, к старухе знахарке, и там оставили. Старуха меня кормила и лечила, как знала.

Старшинство свое я передал товарищу, Прохору Кичатому, человеку физически сильному и не разбойничьего сердца.

С октября месяца я пролежал до апреля, почти не двигаясь; в конце апреля я мог встать на ноги и перейти в другой угол хаты.

На Фоминой неделе я уже сидел под хатой и мог любоваться тихими меланхолическими прелестями оживающей природы.

Это был хутор самый уединенный, так что, кажется, кроме моей лекарки и ее старого мужа, никто и не подозревал существования их хутора.

Я начал выходить почти каждый день, с позволения моей лекарки, посидеть несколько часов под хатю.

Сижу, бывало, себе и люблюсь на прозрачный небольшой ставок, увенчанный зеленым очеретом и греблею, усаженною в два ряда старыми вербами, пустившими свои ветви в прозрачную воду. А ниже гребли старая, как и ее хозяин, мельница об одном колесе, с сладко шепчущими лотоками. На поверхности пруда плавают гуси и утки, каждая в двух экземплярах: одна вверх головою, а другая вниз; издали кажется, что и в воде утка, и на воде утка. На берегу, около гребли, маленький челнок, опрокинутый вверх дном, а под навесом старой мельницы развешена рыбацья сеть. А кругом хутора — дубовый лес непроходимый, только в одном месте вроде просеки, как будто нарочно для полноты пейзажа. И в эту просеку далеко на горизонте синеют, как огромные бастионы, отрасли Карпатских гор.

Я оживал, глядя на эту прекрасную волшебницу природу.

По временам навещал меня Прохор Кичатый, привозил всегда подарок моей лекарке, а мне разных лакомств, говорил мне, что товарищи без меня соскучились, что заработков никаких нету, что он чуть было не попался в руки полиции в Кременце и что меня товарищи ждут, как самого Бога с неба.

Но у меня было другое на уме. Я думал, как бы только собраться с силами и пуститься прямо в Почаев помолиться святой Заступнице Почаевской, потом пробраться на берега Случи, повидаться с панною Магдаленою, а потом уже — куда Бог пошлет, только не к товарищам.

В конце мая я мог уже, с помощью посоха, пуститься в дорогу.

Оделся я в старое крестьянское платье, взял котомку на плечи, посох в руки и, по старой привычке, пистолет за пазуху, поблагодарил, чем мог, моих добрых хозяев, помолился и вышел из хаты. Старик вывел меня на Кременецкую дорогу, и я, простившись еще раз с стариком, пошел по дороге к Кременцу, думая сначала зайти в Почаев, а потом уже идти на свидание с панною Магдаленою.

Возвращаясь из Почаева, я зашел в Кременец посмотреть на *королеву Бону* и на воздвигавшиеся в то время палаты, или кляштор, для Кременецкого лица.

Мир праху твоему, благородный *Чацкий!* Ты любил мир и просвещение! Ты любил человека, как нам Христос его любить заповедал!

Из Кременца пошел я через село Вербы в Дубно, а из Дубна на Острог, Корец и на Новгород-Волынский, на берега моей родной, моей прекрасной Случи.

Тут я отдохнул и на другой день к вечеру был уже в виду своего села.

Я думал было переночевать в дуброве и поутру уже дать знать панне Магдалене, что я здесь,

— но как я дам знать? У меня не было ни бумаги, ни чернила, ни пера.

Подумавши, я решился идти в знакомую корчму, написать там записку и послать жида к панне Магдалене; притом же меня и голод сильно одолевал. Я пошел в корчму.

Жид не показал виду, что узнал меня. Я спросил четвертку водки, кусок хлеба и *тарань*. Утоливши немного голод, я спросил у жида лоскуток бумаги, перо и чернило, написал записку и послал жида на панский двор.

Во ожидании ответа я прилег было на лавке отдохнуть и уже начал дремать.

Вдруг двери отворились и в корчму вбежал граф с толпою вооруженных мужиков.

— Держите! Вяжите его! — кричал он.

Я вскочил с лавки, вынул пистолет, ни на кого не целясь, спустил курок, и граф повалился на пол.

Прости мне, милосердый Господи, сей грех невольный! Я не хотел его смерти. Он был у меня в руках, и я отпустил его.

Сам сатана направил мою руку, и я сделался невольным убийцею.

Прослывши разбойником во всем краю, это была первая и последняя жертва моих рук. Но это не оправдание. Я все-таки был разбойником и посягателем на чужое добро.

Мужики, зная меня лично и зная мою разбойничью славу, которая была сопряжена со слухами, будто [я] колдун, не хотели вязать меня, но я бросил пистолет в голову жиду-предателю и в сопровождении мужиков пошел на панский двор.

На дворе уже меня связали по приказанию графини и заперли в знакомый уже мне погреб. Но уже не дали мне ни хлеба, ни воды, а панна Магдалена не присылала мне ни чаю, ни белого хлеба, как это делала прежде. «И она! — так я думал тогда. — И она, моя добрая! моя единая! и она оставила меня».

Я пролежал в погребе, связанный, трое суток. Это я знаю потому, что три раза показывался дневной свет сверху, в душник. Мне не подавали ни хлеба, ни воды, да мне и не нужно было ни того, ни другого. Меня кормило мое сердечное горе и поили слезы, а мучила и терзала совесть. Я почувствовал все свои преступления разом. Я был хищник, грабитель и, наконец, убийца! О, мое горе в ту бесконечную трехсуточную ночь было неизмеримо! Мне представлялись все мои преступления так живо, так страшно выразительно, что я закрывал глаза руками. Иногда, и то ненадолго, картина переменялась. И мне представлялось мое детство: пустка, ночь в поле, вой волков, *лановый*, пан Кошулька и моя благородная панна Магдалена, а за нею, как светлый божественный ангел, прекрасная моя, непорочная Марыся...

Боже мой! Боже мой! Вскую мя еси оставил!

Картина переменялась. И я видел погубившего меня врага моего. Кругом меня все в огне горело, и я впадал в бешенство: кричал, плакал и грыз каменный пол погреба. Мучения мои были страшны, молитвы и всякие другие добрые помыслы покинули меня на жертву лютым демонам.

Припадки бешенства повторялись со м[ною] ежечасно. Однажды я пришел в себя и

почувствовал жажду, подполз к дверям (я ходить не мог, потому что у меня были связаны руки и ноги), стал кричать, просить воды. Никто не отзывался на мой крик. Жажда меня терзала. Я рванулся, и веревки на руках подались. Я еще раз, веревки чувствительно ослабли. Кое-как я освободил руки и потом ноги. Прошелся ощупью по своей темнице, и мне стало будто легче. Подхожу к душнику, смотрю, свету не видно: должно быть, ночь. Теперь все спят, неужели ж и сторожа мои заснули? Подхожу к дверям, стучу, зову, никто не откликается. Через минуту прислушиваюсь, на дворе слышу легкий шум и голоса людей: вероятно, меня услышали. Кричу опять, никто не отвечает, а шум на дворе все более и более увеличивается. Оглядываюсь, из душника красный свет пробился в погреб, и слышу голоса: «Пожар! Пожар!»

Тут я потерял всякую надежду выпросить воды. Кто теперь меня услышит? А жажда сильнее и сильнее меня стала мучить. Я пробовал лизать сырые стены, но мне легче не было. Я знал, что в погребе есть вино, но оно было заперто другою железною дверью. Я выл, как зверь, от страдания, мне представлялся со всеми ужасами голодная смерть. Слушаю, дверь отворяют и зовут меня по имени. Я бросился к двери, дверь растворилась, и я увидел на пороге своих товарищей. Первое мое слово было: «Воды!» — Принесли мне воды, я напился, оглядываюсь вокруг себя, и страшно выговорить, что я увидел.

На дворе, при свете пожара, соучастники мои режут, и бьют, и живых в огонь бросают несчастных гостей графини.

О, лучше не родиться, чем быть свидетелем и причиною такого ужаса!

Пока меня держали в погребе, крестьяне дали знать моим товарищам о случившемся. И они прилетели на выручку.

Ужасная была выручка!

К графине собралось много гостей с детьми и женами по случаю похорон сына. Но ему Бог не судил в земле лежать — труп его грешный сгорел на пышном катафалке.

Все уже было готово к похоронам, уже ксендзы начали панихиду петь, как тут мои разбойники налетели, как коршуны, зажгли великолепные палаты, и началось убийство. Грудных младенцев не пощадили. Варвары!

А крестьяне собрались на двор как бы на потешное зрелище. Ни один и пальцем не пошевелил, только хохотали, когда разбойники бросали со второго этажа толстого пана или пани. Грубые, жестокосердые люди!

А кто их огрубил? Кто ожесточил? Вы сами, жестокие, несытые паны!

Крестьяне, впрочем, спасли панну Магдалену за ее ангельскую доброту и за то, что она по воскресеньям ходила в нашу церковь. Спасли и мою бедную Марысю, потому что она была не панна.

Я отыскивал их в селе, мне хотелось еще хоть раз взглянуть на них, бедных. Но крестьяне не показали мне их убежища, бояся, чтобы я не убил невольного-преступную Марысю.

Бедные, они не верили, что я чистосердечно простил ее.

И мне не удалось их тогда увидеть.

При свете пожара товарищи увлекли меня с собою по направлению к корчме, где я в первый

раз встретил разбойников и где совершил убийство!

Товарищи напились вина, зажгли корчму и жида-предателя живого в огонь бросили.

Мы ушли ночевать в дуброву.

К удивлению моему, я не видел у разбойников никакой добычи. Следовательно, все это было сделано только для моей свободы.

О бедная моя свобода! Убийством и пожаром ты куплена была!

Я не принимал никакого участия в делах преступного братства, я почти все хворал, и вскоре опять ко мне болезнь прежняя возвратилась; случилось это недалеко от моей родины, то я и просил товарищей перенести меня в село и положить в тытаревой хатке, что в саду, а там, что Бог даст.

Долго они не срглашались, боясь преследования полиции, но я убедил их в моей безопасности. Я знал наверное, что меня тытарь не выдаст. А если б и выдал, то я не боялся правосудия и казни, потому что я и без того казнилса ежеминутно. Мне страшно надоела зверям подобная разбойничья жизнь.

Ночью перенесли меня товарищи в назначенную мною хатку в тытаревом саду. Положили меня в хатке и дали знать хозяину, что у него есть гость *недужий*.

Поутру пришел ко мне сам хозяин. Принес мне воды, хлеба и кипяченого молока с шалфеем; с участием расспросил, что у меня болит, и напоил меня горячим молоком. Потом принес мне постель и ввечеру привел знахаря. Прекрасное, благородное лицо знахаря, с белою окладистой бородою, внушило мне доверие, но лекарства его все-таки мне не помогали.

Хозяин и знахарь просиживали со мною целые дни, но женщин я не видал у себя в хате. Вероятно, благоразумный хозяин не говорил своей жене про меня, не полагаясь на женскую скромность.

Мне становилось хуже и хуже, так что я просил к себе священника позвать.

Привели ко мне ночью священника, и я узнал того самого отца Никифора, который когда-то обещал сделать из меня человека.

Он был уже седой, но бодрый старец. Удивился простодушный старик, когда я ему напомнил того бедного Кирилка-сироту, взятого им давно когда-то у бедной вдовы Дорошихи.

После исповеди и принятия святых таин я почувствовал себя лучше.

Святое, великое дело религия для человека, тем более для такого, как я, грешника!

День ото дня мне становилось лучше.

Добрый хозяин мой как ни старался скрыть мое пребывание в его доме, однако тайна была открыта.

Поздно вечером я сидел у окна и слушал пение соловья в саду, вдыхая в себя запах цветущих черешен и вишен. За деревьями, мне показалось, что-то будто бы мелькнуло черное. Смотрю пристальнее — человеческая фигура тихо подходит к хате. Ближе — вижу: женщина в черном платье, только не крестьянского покроя. Подходит к самому окну, и кого же я узнал? Мою

единую! мою незабвенную панну Магдалену.

Она вошла тихонько в хату.

Мы судорожно обнялись и поцеловались и долго держали друг друга за руки, не говоря ни слова.

Потом, как сестра, как самая нежная, нежная любовница, она обвила меня своими руками. И горько, горько зарыдала.

Недолго продолжалось наше свидание, потому что я был еще слаб. Она это поняла и вскоре простилася со мною, обещаясь навестить меня на другой день.

Она ради моей бедной Марыси осталась с нею жить в сео ле, потому что Марыся, как подданка, не могла следовать за нею в монастырь. Случайно узнала она о моем пребывании у тытаря. Она искала для себя квартиру в селе, и ей рекомендовала дияконша тытареву хатку в саду как самое уютное и дешевое убежище.

Она днем пришла посмотреть хатку. Хозяева мои были в поле на работе, а то бы они ее не пустили в сад.

Я в то время спал, когда она приходила в хатку. Она меня видела спящего, узнала и не разбудила, а посетила вечером. Свидания наши продолжались ежедневно, когда хозяева мои уходили в поле на работу. И, Боже мой, о чем мы с ней не переговорили. Какие возвышенные, благородные помыслы и чувства она исповедала передо мною!

Она рассказала мне, как она по получении моего письма, в котором я просил у нее свидания, приходила каждый вечер в продолжение лета и осени в эту самую [хатку] и дожидала меня иногда до рассвета. И какие чистые христианские средства в то время она придумывала к моему обращению.

Мы исповедались друг перед другом, говорили обо всем, что было близкого, сердечного, но о Марысе не было сказано ни слова. Она как бы боялась напомнить мне о ней, а я тоже боялся услышать ее имя из непорочных уст панны Магдалены.

А Марыся моя бедная приходила каждый раз с панною Магдаленою и оставалась в саду, не смея зайти ко мне в хату.

Однажды я собрался с духом и спросил:

— Что моя бедная Марыся? Жива ли она?

— Жива. Но не скажу здорова, — отвечала панна Магдалена.

— Что же с нею? — спросил я с трепетом.

— Она страдает! Сердечным недугом страдает!

— Можно ли мне ее увидеть? Приведите ее ко мне, пускай я хотя взгляну на нее.

Панна Магдалена вышла с хаты и через минуту возвратилась, ведя за собою Марысю.

Я не узнал ее, она страшно переменилась. Бледная, худая и с каким-то лихорадочным блеском в глазах.

Долго она стояла, как окаменелая, наконец, едва внятно проговорила:

— Прости!.. Прости меня!

И, рыдая, упала к ногам моим.

Я был слишком потрясен и не мог проговорить ей ни слова.

Безмолвное свидание наше скоро кончилось. Панна Магдалена вывела ее полуживую из хаты. И я не смел останавливать их. Панна Магдалена имела надо мною безграничную моральную власть, я повиновался ей, как ребенок матери.

Марыся вместе с панною Магдаленою посещали меня каждый день, и однажды Марыся рассказала мне свою грустную историю со дня, как я уехал в Одессу продавать пшеницу.

Не повторяю я тебе, друже мой, этой тяжелой повести, потому что она отвратительно гнусна и, к несчастью, слишком обыкновенна на нашей бедной родине!

Она, несчастная, была матерью и в нищете растила своего бедного сына. Графиня покойная не хотела ничем помочь нищей матери своего внука, страшась ложного стыда. Бедные вы, мелкодушные графини! День ото дня мне было лучше, а между нами решено было, как скоро можно будет мне выходить, то отправиться не в отдаленный глухой монастырь, как я прежде думал, а идти в Житомир и явиться к губернатору, рассказать ему все преступления свои и положиться на милосердие Божие и на правосудие человеческое.

Я так и сделал.

Ночью, простившись с моим скромным и гостеприимным хозяином, я, не видимый никем, вышел из села.

В лесу, на берегу Случи, меня ожидала панна Магдалена и Марыся. Мы так еще днем условились.

С рассветом они вывели меня на Житомирскую дорогу, и мы расстались, расстались навеки.

И при последнем целовании незабвенная моя панна Магдалена благословила меня эту святою книгою. — И он указал на лежавшую на столе Библию, о которой я говорил уже. — Святая! божественная книга! — продолжал он восторженно. — Мое единое прибежище, покров и упование. — Старик задумался, заплакал и сквозь слезы говорил, как бы сам про себя: — Одна-единственная вещь, уцелевшая от пожара.

— Друже мой! — сказал он после минутного молчания. — Ежели Бог приведет тебя в наш край, то посети бедное село на берегу Случи, и если найдешь их живыми, то поцалуй их от меня, а если померли, то отслужи за их мученические души панихиду.

Я пришел в Житомир, явился к губернатору, рассказал ему чистосердечно свою страшную историю и был арестован. Меня судили как убийцу и осудили милостиво и человеколюбиво.

Вот тебе и вся моя грешная повесть, мой друже и мой милый земляче.

А остальное пускай тебе доскажут кандалы мои и мои преждевременные седины.

1845 года
Киев

Джерело: *Шевченко Т. Г.* Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — С. 121-151.

Постійна адреса: http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/varnak_povist